

# ГЛАВА II. Принесение в жертву династий

В одном из последних сочинений (Перестали ли существовать трактаты 1815 г.), напечатанном по поводу последней декларации императора об этих трактатах, я нашел, — на что весьма немногие обратили внимание, — что 1814-й год составляет в новейшей истории исходную точку политической эры, которую я называю *эрою конституций*. Действительно, только с этого времени начинают овладевать умами и переходить в действительность идеи рационального и регулируемого образа правления.

Рационализм и наука нераздельны между собою. То, что до сих пор среди народов проявлялось как продукт инстинкта, теперь делается исключительным результатом знания, проверенного опытом. Наука едина — как едина истина и едина справедливость: естественно поэтому стремление новейших наций обоих полушарий устроиться по возможности по одному и тому же типу; как кажется, все человечество хочет слиться под одну конституцией.

Между многочисленными системами правления, которые представляет нам история и философия, в Европе более всех приобрела сочувствия и признана наиболее согласною с разумом науки, более других примиряющею все разногласия и более всех гарантирующею интересы и свободу и вместе с тем порядок — конституционная монархия, представительная, парламентарная. Венский конгресс, удовлетворяя нашему требованию и под давлением необходимости, сделал из хартии неперемное условие, чтобы законная династия возвращена была для сохранения европейского мира. Это было как-бы внутреннее равновесие, призванное для того, чтобы быть ручательством равновесия международного.

В скором времени, по обеим сторонам Атлантического океана, все государства и древние, и новые, по нашему примеру, последовательно совершили подобные же преобразования, так что, в течение менее полувека, конституционализм, в различных формах, обнял почти весь цивилизованный мир, — и все народы, сохранив неприкосновенными свою свободу и автономию, могли почитать себя связанными между собою политически более тесно, нежели в религиозном отношении. Всемирное братство, приветствуемое в 93 году, достигло полнейшей реализации.

Тем не менее, все это было только начало, ожидающее санкции опыта. Без сомнения, венский конгресс вовсе не имел в виду гарантировать преимущество какой-либо системы, и было бы столько же нелепо упрекать его в неудовлетворительности конституционализма, сколько обвинять его в более или менее неудачной переделке карты Европы. Предмет трактатов был двоякий: 1) возвести в основной закон международное равновесие, что открывало возможность территориальных изменений, когда это окажется необходимым; и

2) основать правительственный рационализм и политическую науку, дав народам гарантии, которых требовало развитие идей, гарантии, из которых главнейшая заключалась в признании за народами права изменять, когда укажет необходимость, их собственные конституции.

До сих пор неизменяемость государства, неподвижность его принимались a priori, как догм; теперь эта неизменяемость, сделавшись достоянием науки, исследований и опытов, принимается уже не более как последней ступенью политического усовершенствования. Думали, что венским конгрессом и хартией положен конец революции; в действительности же ее только увековечили; и нам суждено было усвоить в жизнь эту непрерывную революцию, даже под опасением от неё погибнуть.

## Реставрация

Развитие либеральных идей шло быстро. Французский народ, между прочим, увлекся хартией, питая к ней сначала безграничное доверие; и как древнее божественное право было продуктом веры, так и конституционное право, в свою очередь, исключало всякую тень сомнения. Все затруднения исчезали под эгидою хартии, решительным образом принятой и честно исполняемой. В течение некоторого времени Франция, преданная этой хартии, считала себя роялистскою, примиренною с самой собой, возвратившеюся на путь истины после 25 лет безумствования и преступлений. Она благословляла своих законных государей, мучеников горьких заблуждений; прошла деспота, железное царствование которого замедлило на 15 лет драгоценные гарантии свободы; возненавидела революцию, крайности которой помешали этим гарантиям. Религия воспользовалась этим политическим раскаянием и процвела вновь, как в самые счастливые дни церкви; и реставрация, казалось, навсегда утвердилась. Но, увы! иллюзия была кратковременной. Мы должны были вскоре узнать, в ущерб себе, что создатель, отдав созданный им мир и самую революцию — также выражение его воли, — на суждение людей, не исключил из этого и измышлений нашего бедного разума. Мало по малу стали замечать, но не сознаваясь в этом, что бессмертная хартия представляла поводы к недоразумениям, что почти каждое из её постановлений возбуждало целую пучину сомнений и толкований, одним словом, что этот миротворный рационализм, казавшийся столь либеральным и философским, представлял из себя арену для разногласий. Повсюду чувствовалось тяжелое судорожное настроение; появлялся грозный антагонизм; вместо того, чтобы рациональным образом исследовать сущность организации, как бы это следовало, и открыть её несостоятельность относительно науки, начали обвинять и подозревать друг друга; вымеривая друг друга глазами, с правой стороны кричали о заговоре и цареубийстве, с левой о тирании и привилегиях. Те, которые совместно с королевскою властью, дворянством и церковью, отвергали научный, либеральный и часто человеческий принцип революции и замыкались в понятиях о власти и законе, те, конечно, не могли видеть в новой хартии — в этом недостаточном и двусмысленном выражении революционного права — что-либо другое, как только адскую машину; а потому возможна ли была для них критика? Каким образом на них, неудостоивавших эту хартию даже чести быть философски исследованною и не находивших для того достаточно данных, — могли смотреть иначе как не подозрительно, как не на врагов порядка и общественной свободы? Что же касается до других, которые вскоре

сделались значительным большинством и стали на противоположную точку зрения, то и они также не допускали рассуждений. Отвергать хартию, этот монумент современной философии и продукт опыта нескольких веков, считалось верхом заблуждения. «Не хранила ли эта хартия в своих основах человеческий разум, который также исходит от Бога, как и откровение, с начала веков, и согласие которого с верою провозглашает ежедневно обновленная церковь? Допуская верховную власть народа — не признавала ли эта хартия законности и авторитета короля? Рядом с свободной философией не провозглашала ли она религии Христа религией государства. Наконец, рассматриваемая по отношению к её духу и во всех её частностях, не была ли она как-бы конкордатом 1802 г., как-бы союзом папы с Карлом Великим, как-бы самим евангелием, в смысле возобновления вечного союза между Богом и человеком.»

Вот что говорили в 1820 г. партизаны хартии и это же повторяют они и теперь. Да и как этим либералам, ставившим себя выше парламентского контроля, могла прийти мысль о конституционной критике. Гг. Гизо и Тьер и им подобные разве дошли до этого хотя теперь. Нет, они скорее предпочитали обвинять исключительно консервативные страсти, упорство королей, нетерпимость церкви, или ложность принципов божественного права и т. д., нежели предполагать какие-нибудь недостатки в новоизобретенной системе. Странное дело — люди также верят идолам своего разума, как и идолам инстинкта! Хартией, этой политической гипотезой, клялись точно также, как прежде клялись евангелием! А законного короля, творца этой хартии, называли изменником и вероломным!..

Конечно, в эти смутные времена многое происходило от ошибок самих правителей; но кто из последующих поколений осмелился бы утверждать теперь, что наибольшее зло таилось в самой несостоятельности системы?

Известно, каким образом окончилась эта борьба. Большинство членов палаты переменяло свои места; когда центр тяжести правительственной власти отодвинулся в левую сторону (221 против 219), Карл X думал, что в силу 14 статьи хартии он имел право с помощью своей прерогативы уравновесить эту разницу: он хотел управлять против большинства. Роковые приказы были отданы, и Париж восстал, при криках: «да здравствует хартия!»

Затем, — так как победа никогда не теряет своих прав, — династия была низвергнута и заменена другою; пункт 14 хартии изменен; католицизм объявлен просто религией большинства французов; избирательный ценз понижен; одним словом — конституция очистилась от тех двусмысленностей, противоречий и крайностей, которые по сознанию самых искренних её защитников затрудняли правильное её развитие.

Ни в чем так не проявлялся этот конституционный фетишизм, как в остервенении, с которым преследовали членов династии и всех тех, кого подозревали во вражде с этим фетишизмом. Конечно, в 1814 г. прежде всего требовали освящения социальных принципов 89 г. Что же касается самой организации правительства, то на монархию смотрели как на необходимую форму этих принципов и как на существенное их условие. Это было триумф законности.

За что же после этого такая ужасная и оскорбительная ненависть к старому Карлу X? Верили ли он в то, что монархический принцип мог быть совместим с основами парламентарной системы? И когда он, как монарх, пробовал отстранить удар оппозиции, на половину искусственной, то скорее можно допустить, что он действовал по логике своего принципа, чем обвинять его в гнусном клятвopеступлении? Зачем впоследствии, когда король и дофин подписали свое отречение, вместе с ними изгнали герцога Бордосского, их племянника, восьмилетнего ребенка, и его мать, герцогиню Беррийскую, благоприятовавшую либеральной партии? Это не было следствием ненависти к королевской власти, потому что династия Бурбонов была тотчас же заменена династией Орлеанской. Предполагали ли, что старшая династия носила в крови своей, как неразлагаемый яд, отвращение к хартии? Вспомним при этом, что в 1793 году Людовик XVI и Людовик XVII, в 1815 г., после Ватерлооского поражения — Наполеон I и Наполеон II были жертвами подобного же политического и вместе мистического безумия. На конституционную систему смотрели как на религию, и всякое посягательство на её святость было наказуемо как святотатство.

Таким образом принесли в жертву королевскую династию; создали династическое соискательство; унизили королевскую власть; уничтожили значение высшего класса по природе консервативного, но для того лишь, чтобы возбудить страсти среднего класса. И все это для того, чтобы прославить и утвердить известную метафизическую формулу.

## Июльская монархия

Изгнание старшей линии не было нашей последней конституционной трагедией.

В 1830 г. вера в хартию была полная; некоторые отдельные гениальные личности предвидели смуты, но масса населения нисколько не сомневалась в истине и действительности идеи; нужно было только найти верных людей, которые могли бы дать ей надлежащее осуществление. Жизнь обществ преимущественно поддерживается верою и единодушием масс. Почему, например, 15 лет реставрации были самым счастливым периодом из рассматриваемого нами времени, начиная с 89 г.? Только потому, что это были времена веры. Первые десять лет правления Людовика Филиппа были еще сносны. Удивлялись этому разумному равновесию, с которым определены были с такою точностью отношения и права разных властей между собою, — которое согласовывало свободу и вместе с тем власть, которое соединяло консервативную осторожность с стремлением к прогрессу. Буржуа, не тревожимый более призраком дворянства, гордился своим избирательным правом и усердно исполнял свои обязанности. Такие гражданские качества, конечно, обещали долгие дни новому порядку. Национальная гвардия, рука об руку с своим государем, защищала конституцию неодолимым щитом. Каждый простолюдин спокойно стремился принять участие в политических делах государства, получал ли он это право путем материального достатка, честным образом добытого, или же ему открывало к этому дорогу новое благодеяние законодателя, понизившего избирательный ценз; такое законное честолюбие конечно не развращало, а возвышало дух народа. В такой прогрессивной равномерности разделения власти рады были видеть возможность лучшего распределения богатств, гарантию нравственного развития и залог ненарушимой прочности мира

внутреннего и внешнего.

Радость вслед за июльской революцией была всеобщая и все без различия плотно сомкнулось около новой династии. Конституционная система, усовершенствованная сообразно с духом последних споров, имея в главе короля-философа, сражавшегося в 92 году за свободу и понимавшего смысл хартии, считалась монархией, окруженную республиканскими учреждениями.

Лафайет, показывая Людовика Филиппа народу, называл его лучшим из республиканцев; никогда движение не было более национально, более грандиозно. Всем этим европейские народы были обмануты: все приветствовали стойкость и умеренность французского народа; те, которые могли — последовали нашему примеру, верили в энергию нашего характера, в серьезность наших решений, также как в действительную силу нашей системы. Лишь немногие замечали, что июльская революция, которая казалась мстью права против безрассудного деспотизма, была только кризисом, в котором во всем блеске выказался антагонизм системы и потребностей, и что Франция, искренно воображавшая себя монархической и в которой на каждом шагу и везде открывались обломки прежней иерархии, положительно клонилась к смешанному демократизму, в котором порядок мог держаться лишь посредством диктатуры, в котором коалиция капиталов стремилась создать новый феодализм, в котором труд ожидало порабощение, более нежели когда-нибудь, и в котором следовательно свободе угрожала близкая гибель. Впрочем, если бы страна и прочла на страницах хартии приближение такого великого социального переворота, никто бы этим не встревожился. Сказали бы все в один голос, что демократия есть равенство, и приняли бы с большим удовольствием такое предсказание; в нем увидели бы доказательство непогрешимости системы и провозгласили бы ее с восклицаниями, облекая хартию в старинную монархическую формулу: кто поддерживает конституцию, тот друг прогресса. Каково же было разочарование, когда увидели, что обновленная хартия 1830 г. произвела под управлением популярной династии гораздо худшие результаты, нежели при династии законной. Чем более вопрошали эту хартию, тем более порождала она противоречий между властью и свободой, королевской прерогативой и парламентской инициативой, между правами буржуазии и свободой народа. Десять лет спустя после июльского переворота, политическая вера умерла во французской буржуазии.

Воспоминания об этой эпохе еще весьма свежи: не представляли ли парламентские прения длинного ряда смут, порождающих каждый день новые скандалы; не был ли король Людовик Филипп еще более непопулярен, ненавистен и оскорбляем, нежели Людовик XVIII и Карл X; учреждения, вместо того, чтобы развиваться свободно, не развивались ли как-бы насильственно; правительство не выродилось ли в партию царедворцев; развращение нравов не проникло ли в выборы, в администрацию и палаты? В то время как трудящаяся масса населения, в своем наивном веровании стремилась к политической жизни, — консервативное большинство не пускало ли в ход свои привилегии, замышляя, вместе с правительством, разрушение учреждений? Люди реставрации, в ревностном рационализме, забыв, что они дети церкви, отличались полнейшим индифферентизмом в религии, но их политические убеждения вследствие этого были еще пристрастнее, современники же 30-х годов отмечали свою деятельность лицемерием и развращенностью. Начиная с 1840 года, июльская монархия, чувствуя, что умирает убитая скептицизмом, нашла себе убежище в вере: она сделалась, на сколько могла, quasi-законною, она показывала вид, что держится

старого порядка, обнаруживая тем ложность своих собственных принципов. Судьба ее скоро была решена.

В 1848 году, также мало как и в 1830 году, задавали себе вопрос о том, не кроется ли причина беспорядка менее в недостатках самой конституционной организации, сколько в бессовестности правителей, не был ли прав тот, кто прокричал, что «законность убивает нас», и не выразил ли он в этом глубокую истину; и в то время, как обвиняли министерство, оппозицию и министров, монархию и демократию, народ и правительство, не были ли все вообще обмануты какой-то галлюцинацией? Как в 1830 г. обвиняли страну за ее преданность законности, точно также и в 1848 году; поколениям этих двух эпох нельзя отказать в той чести, что они поверили, что отечественные учреждения, во всем, что относится до основных принципов и существенных форм, были непогрешимы. Эти два одновременные движения поколебали королевскую власть; демократия взяла верх, и вторично приступили к пересмотру конституции.

Самая печальная сторона этого дела была та, что эти тридцать три года конституционного порядка были совершенно потеряны для политической науки: ни одной замечательной мысли не было высказано с трибуны ни относительно хартии, ни относительно основ общественной жизни, или государственной организации; критика нападала на министерство, но всегда держалась начал данной конституции; никогда она не возвышалась до философского анализа самой конституции. В этом отношении в 1848 году еще менее ушли вперед, чем в 1814 году: действительно в начале реставрации все допускали, в отношении к правлению, компетентность разума; верили в осуществимость доктрин, в знание; а в 1848 году не верили более в это.

Напрасно школы социалистов провозглашали социальную науку; кроме того, что их и вообще не были расположены слушать, — они только еще создавали свои гипотезы, только еще начинали прилагать свои догматы. Общественная мысль была развращена. Странно было действие парламентарной системы, которую так злоупотребляли с 1830 г.; по отношению к обществу и правительству не допускали *ни религии, ни права, ни науки*; верили только в *искусство*. И массы склонялись к этому, как это в сущности и всегда бывало. Для них политический гений заключался в высшей степени честолюбия и в смешении смелости и ловкости. Со смерти Казимира Перье власть нечувствительным образом преобразилась в художество; но еще шаг, и она упала до гаэрства. Если еще держались политической веры, то это был маленький кружок республиканцев, составлявший меньшинство в республиканской партии. Однако и этого остатка веры было достаточно для того, чтобы установить республику. Посмотрим, каким образом это было сделано.

## Февральская республика

Какова была буржуазия 1830 года, верящая в свои учреждения и потому самоуверенная, таковую же показала себя и демократия 1848 года. Люди Февральской революции все почти были свидетелями падения первой империи; они присутствовали при прениях реставрации, сражались в июле, следили за спорами палат 1830 г.; они изучили революцию более, чем это было до них, — в её декретах; при таких обстоятельствах они казалось должны бы были

более осмотрительны, но ничуть не бывало: подобно своим предшественникам, они ни в чем не сомневались и постоянно были исполнены иллюзий.

Февральская республика была ничто иное, как продолжение июльской монархии, *mutatis mutandis, exceptis excipiendis*.

Они думали, что весь вопрос состоял лишь в том, чтобы упростить общественную связь путем уничтожения королевской власти, сделавшейся невозможным органом, развить некоторые принципы, которые до сих пор применялись только на половину, ограничить некоторые влияния, еще уцелевшие от прежнего времени и пощаженные как необходимая переходная ступень. И так, республика была провозглашена как следствие догма самодержавия народа; право всеобщей подачи голосов получило окончательное применение, как необходимое последствие другого принципа — безусловного равенства перед законом и как дополнение к реформе избирательной системы 1830 года; обе палаты соединены в одно собрание представителей, избранных непосредственно народом, так как аристократический элемент не допускается в демократии.

Все эти реформы относительно логичности были безукоризненны. Революция 89 года выработала главные их основания; хартия 1814 года признала их данные, а хартия 1830 года не затруднилась определить окончательное их положение; — демократия с полнейшей искренностью преследовала то движение, которое 33 года тому назад начато было людьми, отступившими перед своим собственным принципом и ставшим в ряды её противников. Но это была лишь логика школьников, несчастная рутина. Февральские учреждения были, как и многие другие, попыткой, сделанной на авось. Скажу более: если бы основатели февральской демократической республики были действительно свободными мыслителями; если бы, провозглашая человеческий разум и человеческое право, они наиболее понимали законы их, они увидели бы, что их республиканская конституция, выродившаяся непосредственно из двух последовательных монархий, была не более как крайней нелепостью.

Реакция против республики 1848 г., без сомнения, началась вместе с учреждением этой республики, и было бы излишне отвергать это; она рушилась — эта республика, скорее от интриг своих бесчисленных врагов, нежели от своей собственной утопии. И наконец, я спрашиваю демократов, разве со времени 1848 г. их политическая вера не была потрясена? Сохранили ли они веру в народный патриотизм, в разумность массы и в непоколебимость её нравственности? Ограниченному избирательному цензу ставили в упрек легчайшую возможность подкупа, но разве не было десять раз доказано, в течение последних 15 лет, что несравненно легче обольстить 7,000,000 избирателей, нежели подкупить 2,000,000 их? Февральской конституции предсказывали долгое существование, основываясь на внешней тождественности слов: демократия и республика; но разве выборы 10 декабря 1848 года, составившие так сказать прелюдию событий декабря 1851 и 1852 г., не ясно выказали склонность народа к тем же замашкам, которые приписывали государям, и вкус народа к абсолютизму? Разве мы не видели опять те же партии, интриги, реакцию и гнет, междоусобицу, ссылки и избиение, истязания, и наконец Кавеньяка — человека, которому партия буржуазии поручила задавить народную партию, который сделался кандидатом на президента республики и потом своей же партией был выдан как убийца народа. К чему

послужили и единство национального представительства, и подчинение исполнительной власти законодательству, и конституционные гарантии, и развитие свободы? — Толпа, в которую входили все классы общества, все это не ставила ни во что; после 2 декабря, также как и после 18 брюмера, она рукоплескала изгнанию адвокатов, безмолвию трибуны, стеснению прессы и закону об общественной безопасности; с равнодушием смотрела на изгнание и разорение сотни тысяч граждан, самых храбрых и самых преданных республике. Не будем более говорить о той странной политике, которой она держалась в течение 10 лет и которая обнажила ее совершенную неспособность и её отвратительные инстинкты. Теперь она ищет других наслаждений, теперь ей нужна *оппозиция*, хотя бы ее пришлось искать среди изменников республики, среди защитников империи, в Пале-Ройяле, или в самом Тюильри; она услаждает себя болтовней; она делается формалисткой и осмеливается говорить о свободе! Пусть попробовал бы *избранник народа* удовлетворить теперь этот *народ* — создавший его, или по крайней мере удержать его! Но в настоящее время, более нежели в 1814 году, единственное спасение для французского народа — в разуме, а мы почти потеряли способность рассуждать. Идеи сделались для нас неудобоваримы, мы удовлетворяемся фигурками и картинками. Интеллекция наша опустилась и совесть бездействует. Наука, освещающая разум, питающая душу и укрепляющая сердце, сделалась нам противна.

Мы требуем только возбудительных средств, которые помогли бы нам наслаждаться, хотя бы сокращая наше существование и предавая нас позорной смерти.

Но для кого же, спросят меня, пишете вы все это, если таково ваше мнение о ваших современниках?

Я предполагаю, что в самом развращенном обществе всегда найдется хотя тысячная часть людей неиспорченных и что достаточно этой закваски, чтоб в весьма короткое время обновить нашу нацию, и притом самая внешность в отношении нашей изжившейся расы заслуживает внимания.

Франция, мы должны в этом сознаться, уже не увлекает собою всего человечества, и я думаю, что после полувековых опытов, более или менее конституционных, будет интересно проследить это движение; и так как французская нация, опередившая в этом отношении другие народы, представляет наиболее данных для наблюдения, то я и избрал ее предметом моего изучения.

Но неужели мы откажемся от самих себя потому только, что мир преисполнен интриганов и мошенников? Неужели мы будем отвергать здоровье и добродетель только потому, что общество больно. Неужели мы бросимся в скептицизм потому только, что мы всегда разочаровывались в наших монархически-парламентарных комбинациях и до сих пор не сумели организовать нашу республику и что теперь мы бессильны судить самих себя?

Какое безумие! Нет, нет! Право и наука суть могущественные силы человечества; соединимся под их руководством; с ними мы будем сильны — один против тысячи, один против десяти тысяч, — и мы победим: как говорит Псалмопевец, «падет от страны твоей тысяча и тьма одесную тебя»!

В 1848 году нас обвиняли в том, что мы делали наши опыты над социальным телом, как над трупом казнённого. Теперь не может быть и речи о подобных опытах. Все правительства, которые созидала себе Франция с 89 г., умерли в младенческом возрасте, ни одно не было живучим. Пусть же трупы их послужат по крайней мере для вскрытия; и этого довольно для их славы![7]

---

Версия #2

Зверобой создал 15 марта 2025 04:44:38

Зверобой обновил 27 июня 2025 01:27:21